

ПРОТОТИПЫ ЛЮБВИ

Автор рубрики Руслан КИРЕЕВ

Великая литература — это литература великих страстей, среди которых на первом месте всегда была, конечно же, любовь. Прекрасная Елена в гомеровском эпосе, Лаура, которой посвящал сонеты Петрарка, и безымянный адресат других сонетов, шекспировских; флорентийская красавица Беатриче, впервые явившаяся перед взором девятилетнего мальчика Данте в пурпуровом платье, рано потерянная им (умерла в двадцать пять лет) и вновь обретенная в «Божественной комедии», уже по ту сторону земной жизни.

А герои новой и новейшей литературы, ожившие под пером Гете и Гофмана, Байрона и Шелли, Флобера и Стендаля, Эдгара По и Джека Лондона?

Особый мир — мир русской литературы, женские образы Толстого, Достоевского, Лермонтова, Гончарова, Островского, Чехова... И, разумеется, те, кому посвящали свои стихи Пушкин и Блок, Некрасов и Маяковский, Тютчев и Есенин, Фет и Пастернак...

Не счесть читательских поколений, что были околдованы пленительными женскими образами, но поэтический гипноз не в состоянии убить простого человеческого интереса:

а существовали ли в действительности эти необыкновенные существа?

И если да —

как звали их? В каких отношениях были они с авторами тех романов, новелл, пьес, поэм и стихов, которые даровали им бессмертие?

Одним словом, кто они, прототипы любви?

Вопрос непростой. Во всяком случае, ответить на него можно далеко не всегда.

Ученые до сих пор спорят, кто скрывается под маской «смуглой леди сонетов» Шекспира (да и о самом Шекспире тоже),

а, скажем, реальное существование Беатриче находилось под серьезным сомнением до тех пор, пока в архивах

не отыскалось свидетельство, что жила на свете некая

Биче Портинари,

год рождения которой и год смерти в точности совпадают с теми, что названы в дантевской «Новой Жизни».

(Автобиографическая «Новая Жизнь» — литературный дебют

творца «Божественной комедии».) Дефицит фактов нередко восполнялся творческой фантазией, был стимулом для создания беллетристических произведений, иногда вдохновенных и талантливых.

Но работа, которая предлагается читателям «Огонька», —

работа строго документальная. В основе ее — письма и дневники, воспоминания и архивные бумаги. А также тексты, которые не принято считать документами, но которые, если вдуматься, таковыми являются.

Это — художественная проза: романы, повести, рассказы. Это — поэзия. Это — драматургия... Короче говоря, все, что выходит из-под пера художника и что по самой сути своей не может не быть документом его души.

Все, без исключения, героини очерков — реальные женщины, которых судьба связала с тем или иным гением узами любви.

И которые — что было для нас обязательным условием — запечатлены в его творениях.

Но это очерки не только о женщинах в жизни и, следовательно, произведениях писателей, это в не меньшей степени портреты их самих.

Ибо именно в любви наиболее ярко и неожиданно проявляется характер недожизненного человека. В любви и творчестве...

Одно с другим связано множеством нитей, иногда зримых, чаще, однако, скрытых от глаз, и скрытых подчас весьма глубоко, но вместе с тайной любви неизменно приоткрывается и тайна творчества...

Большинство материалов, с которыми работал автор, опубликовано в России. Используются также зарубежные издания и хранящиеся в архивах рукописи.



Достоевский:
«Я отдал бы полжизни,
чтоб задушить ее»,

Рисунок
Ольги
РАЗИНОЙ

В предпоследний день августа 1867 года на женевских улицах разыгралась под вечер и бурная сцена. Около здания почты остановилась пророческого вида господин с рыжеватой бородой, а рядом — лодая дама. Господин с несколько отрешенным видом лезет в карман, достает бумажку, на

писано карандашом, бросает на нее рассей-
гляд, и хочет сунуть обратно, но его спутница
хватает записку и тянет к себе. В глазах
вспыхивает недобрый огонек. Оскалив
лицом что-то (не говорит, а именно рычит),
идет запылять дамы, та морщится от боли, но
не разжимает. В конце концов злополучный
заплетается надвое, после чего каждый
женемирвет свою половинку, швыряет на-
прямую удаляется. Он — в одну сторо-
ну, а другая — в другую.

В другое время спустя женщина возвращается.
Озираясь, подбирает клочки, а в голове
«Я ужасно дрянной человек!»

И прямо-таки в духе Достоевского, но До-
сто в данном случае не автор ее, а участник:
«Мой господин с бородкой — это он.

Может быть, Федор Михайлович описал ее
сцены в одном из своих романов? Нет... Опи-
саны мельчайшими подробностями! — покушав-
шая записку дама, причем сделала это в тот же
день был день ее рождения, ей исполнился
только один, но описала, вернее, записала столь
подробно расшифровать ее таинственные письма
только лишь через сто с лишним лет. В 1973 году
разительный документ был опубликован.

Достоевский не говорил, а рычал — это отту-
т она «ужасно дрянной человек» — тоже. «Я
дрянной человек! У меня раздражение, по-
лнность и ревность...»

Войдя неприятный подарок преподнесла судья-
ден: бедняжка не сомневалась, что в руки
ее «записка одной особы» и что «эта особа
идет из Женеву», что «видится она тайно»
ведь мне изменяет... Ведь изменил же он этой
жене, так отчего же ему не изменить и мне?». —
текст расшифрованного дневника, который
она, умирая, наказывала «ничегожечь, так как
там найдется лицо, которое могло бы перевести
графического на обыкновенное письмо».

Лицо, однако, нашлось. После долгих усилий
она-таки проникнуть в тайну особого способа
шифровки, который Анна Григорьевна Достоев-
ская это была, конечно, она — изобрела специ-
альную себя. Не опасаясь любопытных глаз, каж-
дый отводила за тетрадкой душу...

Вот как мне показались написанной рукой этой
жене. Мне представилось, что он вместо того,
что сидит в кофейню читать газеты, ходит к ней,
она дала ему свой адрес, а он, по своему
взгляду, по неосторожности, вынул и таким
образом чуть-чуть не выдал свою тайну мне... Меня
в такой степени поразило, что я начала пла-
кать так сильно плакала очень редко, я кусала
себя, сжимала шею, плакала и просто не знала,
что сойду с ума».

И это было пусть слегка приподдавшее, но
все путешествие! А ведь под сердцем своим
она носила ребенка! И тем не менее решила:
подозрения подтвердятся, бросит все и уедет
— такую ярость вызывала «одна мысль об
одной особе».

И ее Анна Григорьевна не называет ни разу,
ни из описаний конспирации — ну кто мог
ее закорючки! — а потому, надо полагать,
она мысленно не в силах была произнести
его имя.

И ни разу не упоминает его жена Достоевского
в мистическом томе «Воспоминаний». А впрочем...
нет, однажды оно вырывается-таки из-под
языка: «Мои симпатии заслужили бабушка, про-
стая женщина, и мистер Астлей, а презрение —

ведь это герои «Игрока» — романа, который
она еще чужой Достоевскому человек, засте-
ривала под диктовку автора за двадцать
октябрьских дней! То был самый продуктив-
ный месяц в жизни Достоевского: не только роман
«После» — тютелька в тютельку! — к огово-
ру в договоре сроку, но и семью: 29-го закончи-
ла рукопись, а уже 8 ноября сделал официальное
заявление... Да, это герои «Игрока» — и бабушка,
мистер Астлей, и Полина — Полина, бесспорно,
но героиня, но она же и та самая «подлая особа».

Достоевский не потрудился даже придумать другое
имя, вынул под ее собственным. «Милая Поля»,
«Моя Поля» — так обращался он к ней в пись-
мах, надо думать, тоже, хотя полное ее
имя: Аполлинурия. Аполлинурия Прокофьевна
...

И при каких обстоятельствах познакомились
они? Известно. Дочь Достоевского, Любовь Федо-
ровна утверждает, будто Сусллова, девушка страстная
и смелая, написала своему кумиру письмо, которое,
как и положено, положило начало их отношениям.

Страстная и смелая, это несомненно, как не-
мно и то, что автор «Записок из Мертвого
мира» писатель-страстотерпец, был кумиром тог-
дашней молодежи, а вот относительно письма Апо-
ллинурии достоверных свидетельств нет. Зато есть
у Суслловой, беллетристическое сочинение

«Покуда», опубликованное в 1861 году во «Време-
ни» — журнале, который редактировал Достоевский.

Рассказец слабый. Вообще писательского таланта
природа Аполлинурии не дала, но это не значит, что
природа Аполлинурию обидела: она дала ей много
чего другого.

«Высокая и стройная. Очень тонкая только. Мне
кажется, ее можно всю в узел завязать или пере-
гнуть надвое... Волосы с рыжим оттенком. Глаза —
настоящие кошачьи, но как она гордо и высокомерно
умеет ими смотреть». Так видит Полину «игрок»
Алексей Иванович, готовый по первому ее требова-
нию сигануть в пропасть или — для чего требуется
еще большая отвага — стать посмешищем целого
города. «Ведь она и других с ума сводит», — лепечет
Алексей Иванович в свое оправдание, и это — чи-
стая правда. Сусллова «действительно была велико-
лепна, я знаю, что люди были совершенно ею поко-
рены, пленены».

Это уже свидетельствует не герой романа и даже
не автор его, а один из тех, кто был великолепной
Аполлинурией «пленен совершенно»; пленен на-
стоятельно, что предложил ей — вот уж действительно
в пропасть прыгнул! — руку и сердце.

Человек этот — Василий Розанов, философ. Когда
его будущая жена обнималась с Достоевским, он еще
под стол пешком ходил, и кто бы мог подумать, что
два десятилетия спустя между ним и тайной подругой
знаменитого писателя будут столь близкие отно-
шения?

Кто мог подумать? Да тот же Алексей Иванович,
чьими устами автор «Игрока» признается, что Поли-
на всегда была для него загадкой — «до того загад-
кой, что, например, теперь, поставившись рассказывать
всю историю моей любви... я вдруг... был поражен
тем, что почти ничего не мог сказать о моих отноше-
ниях с нею точного и положительного. Напротив того,
все было фантастическое, странное, неоснователь-
ное и даже ни на что не похожее».

Иными словами, «загадка» этой женщины в «Иг-
роке» не разрешена, и Достоевский вновь и вновь
бьется над ней, бьется, по сути дела, до конца
жизни, до последнего своего романа «Братья Кара-
мазовы», где черты Суслловой явственно проступают
в образе Катерины. А до того — в Лизе из «Бесов»,
в Ахмаковой из «Подростка», ну и, конечно, в Ана-
стасии Филипповне.

«Я люблю ее еще. до сих пор, очень люблю, но
я уже не хотел бы любить ее». Слова эти вырвались
у Достоевского в апреле 1865-го, но разве не мог он
повторить их и пять, и десять, и пятнадцать лет
спустя, когда писал с нее своих героинь — писал,
откровенно любясь ими, восхищаясь и ужасаясь!
Так что оснований для ревности у чуткой Анны Гри-
горьевны было более чем достаточно...

Итак, когда осенью 1861 года Достоевский, весьма
требовательный редактор, поместил в своем журна-
ле посредственный рассказ не ведомой никому сочи-
нительницы, то 22-летняя сочинительница эта, надо
полагать, была неведома всем, кроме него. Такова,
если угодно, первая документально зафиксирован-
ная веха в истории их отношений: осень 1861-го.
А вторая? Вторая — осень, преддверие осени
1863-го, когда теперь уже имя Достоевского являет-
ся в журнале Аполлинурии Суслловой, вернее, в ее
дневнике — дневник в те времена нередко имено-
вался журналом. «Сейчас, — записывает Сусллова, —
получила письмо от Федора Михайловича. Он при-
едет через несколько дней».

Дальше подобных вех будет множество, и растя-
нутся они на несколько лет, но главные события
произошли, без сомнения, в эти два года, между
осенью 1861-го и осенью 1863-го.

Что были они для Достоевского? Для Достоевского
это были годы, когда тяжело болела его первая жена,
обреченная Мария Дмитриевна, когда главной его
заботой был журнал «Время», неожиданно запре-
щенный в 1863 году, из-за чего ему пришлось отло-
жить отъезд с Суслловой за границу, нетерпеливая,
одна укатила, и ждала его в Париже, и звала его
в Париж...

Он сумел выехать лишь в конце лета, слегка обес-
кураженный тем, что она вдруг замолчала: послед-
ние три недели от нее не было ни строчки. Но это не
помешало ему задержаться на три дня в Висбадене,
чтобы попытать рулеточного счастья.

Как могло случиться такое — ведь все мысли его
были о ней? А вот как: «...с самой той минуты, —
кажется он в «Игроке» устами опять-таки Алексея
Ивановича, — как я дотронулся... до игорного стола
и стал загребать пачки денег, моя любовь отступила
как бы на второй план».

Но вот три дня прошли, страсть утлена, вы-
игрыш — а то был редкий, чуть ли не единственный
в жизни Достоевского случай, когда рулетка отнес-
лась к нему благосклонно, — выигрыш распределен
между умирающей женой и ждущей его на берегу
Сены любовницей, и он с легким сердцем отправля-
ется дальше.

Не совсем с легким: писем-то, опять забеспокоил-
ся он, нет...

Письмо ждало его в Париже. Сусллова приготовила
его загадя, за неделю до приезда обласканного фор-
туной друга.

«Ты едешь немножко поздно... Еще очень недавно
я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала
учиться итальянскому языку — все изменилось в не-
сколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу
отдать свое сердце. — Я его отдала в неделю по
первому призыву, без борьбы, без уверенности, по-
чти без надежды, что меня любят. Я была права,
сердцем на тебя, когда ты начинал мной восхищать-
ся. Не подумай, что я порицаю себя, но я хочу только
сказать, что ты меня не знал да и я сама себя не
знала. Прощай, милый!»

Самое, пожалуй, впечатляющее тут — это слова:
«Не подумай, что я порицаю себя». Она совершила
явную глупость, она отдала сердце какому-то про-
хиндею, она почти уверена, что ее не любят, и тем не
менее: «Не подумай, что я порицаю себя». Узнаете
Настасью Филипповну? Узнаете Катерину и Ахмако-
ву? И, уж конечно, Полину — ее в первую очередь...
«Если я прихожу, то уж вся прихожу. Это моя при-
вычка».

В романе слово «вся» выделено курсивом. Вероят-
но, Достоевский выделил его — голосом, интонаци-
ей — и когда диктовал; может быть, повторил даже
несколько раз: «Вся прихожу! Вся!» — явно волну-
ясь, но молодая стенографистка не придавала этому
значения. Творческий экстаз, решила. Вдохновение...
Разве могла предположить она, какую роль сыграет
в ее жизни эта непредсказуемая, умеющая «вся при-
ходить» женщина! Сколько мук и слез принесет!

Какой нашел ее Достоевский в Париже? «Лицо ее
было очень бледно, беспокоество и тоска сказыва-
лись на нем, смущение и робость были в каждом
движении, но в мягких и кротких чертах проглядыва-
ла несокрушимая сила и страсть».

Это не портрет, это — автопортрет, набросанный
рукой Сусловой в повести «Чужая и свой», произве-
дении бесхитростно автобиографическом, местами
текстуально совпадающем с ее дневником.

Что следует из этой характеристики? А то, что
Аполлинурия знала себе цену. В одном месте она
запечатлевает мимоходом «свой стройный велича-
вый стан», в другом упоминает о краске стыдливо-
сти, что подступила к «благородному челу», в тре-
тьем роняет вскользь, что на лице ее лежала «не
всем видимая, но глубокая печать того рокового
фанатизма, которым отличаются лица мадонн и хри-
стианских мучениц».

Не перебор ли? Мадонны... Христианские мучени-
цы... Не перебор. Тот же Василий Розанов, к идеали-
зации отнюдь не склонный и уж собственную те су-
пругу знавший хорошо, именует ее то раскольницей
«поморского согласия», то «хлыстовской богороди-
цей».

«Полина способна только страстно любить и боль-
ше ничего! — восклицает в полуросте, в полувосхи-
щении Алексей Иванович. — Поглядите на нее, осо-
бенно когда она сидит одна, задумавшись: это что-то
предназначенное, приговоренное, проклятое. Она
способна на все ужасы жизни и страсти».

Отчаянные слова эти сказаны Достоевским — не
написаны, а именно сказаны, выкрикнуты (карандаш
стенографистки едва поспевал за ним; не потому ли-
роман и создан так фантастически быстро, что автор
не сочинял, автор вспоминал) — эти отчаянные
слова сказаны автором «Игрока» спустя два года
после того, как он прочел ожидавшее его в Париже
страшное письмо. А тогда? Тогда, узнав все, «обхва-
тил» ее, целовал ее руки, ноги, упал перед нею на
колени».

Стенографистка небось снова подумала с восхи-
щением: какая фантазия! — а романист между тем
ничуть не фантазировал, романист по-прежнему
вспоминал. «Когда мы вошли в его комнату, — по
горячим следам записывает в дневнике Сусллова, —
он упал к моим ногам и, сжимая, обняв, с рыданием
мои колени, фомко зарыдал: «Я потерял тебя, я это
знал».

Но Достоевский не был бы Достоевским, если б
ограничился этим. Если б не стал сыпать на свою
рану соль, допытываясь, кто таков ее новый избран-
ник. «Молод ли? Хорош ли собой? Ты отдалась ему
совершенно?»

На этот вопрос она отвечать отказалась. «Не спра-
шивай, — сказала, — это нехорошо».

Он понимал, что нехорошо — Достоевский все по-
нимал! — но удержаться не мог. Ему хотелось знать,
счастлива ли она — еще одна щепотка соли! — и ус-
лышал в ответ, что нет, ибо человек этот, кажется,
не любит ее. «Не любит! — вскричал он, схватив-
шись за голову, в отчаянии. — Но ты не любишь его,
как раба, скажи мне, это мне нужно знать!»

Сусллова воспроизвела в дневнике эту сцену бес-
страстной рукой, без комментариев и оправданий,
хотя подозрение его, если вдуматься, было для нее
унизительным. Она — и раба? Эта гордая, эта бес-
страшная женщина? Пройдет два года, и Достоев-
ский, расхаживая по кабинету перед молодой своей
помощницей, решительно и страстно обобщит: «Все

женщины таковы! И самые гордые из них — самими-то пошлыми рабами и выходят!»

Рабами кого? Тех, по-видимому, кого любят, и хорошо еще, если они любят нас. А если других? Тут уж, не ровен час, рабами делаемся мы сами. Алексей Иванович, герой «Игрока», им, во всяком случае, становится. «Полина никогда не была со мною вполне доверчива». Тем не менее, прикажи она, и он, не колеблясь, вызвал бы на дуэль своего удачливого соперника француза Де-Грие...

Дуэли Полина не желает — ей угодно другое. «...она хочет сделать меня своим другом, поверенным, и даже отчасти уж и пробует».

У нее это получается. Добрайший Алексей Иванович охотно вникает в ее отношения с Де-Грие, особенно в финансовую сторону этих отношений, и даже, лихо выиграв за какие-то полтора часа огромную сумму, пыгается всучить ей деньги, дабы она могла вернуть увертливому французу какой-то свой давний и чрезвычайно мучающий ее долг.

То же навязчивое желание возвратить долг терзает Суслову (у нее, правда, не француза, а то ли испанца, то ли итальянца, Сальвадор зовут), однако Достоевский в отличие от Алексея Ивановича денег не дает — напротив, сам, проигравшись вдрызг, вытягивает из Аполлинару последние гроши, но вот на мудрые советы не скупится. «После некоторых неважных расспросов я ему начала рассказывать всю историю моей любви... не утаивая ничего». Он сам предложил себя в этом качестве — качестве друга, который ни на что не надеется больше и ни на что не претендует. Именно на таких условиях и отправляются в вожделенную Италию. (Сальвадор к тому времени сбежал.)

Роль друга — просто друга! — дается страстному Достоевскому нелегко. «Следок ноги у ней узенький и длинный, мучительный, — вырвется у него во время диктовки «Игрока». — Именно мучительный!» — с нажимом повторит он, объятый воспоминаниями. (А Анна Сниткина застенографирует.) Воспоминания — отдаленный отголосок их, но они есть у Сусловой. И в повести, и — главное! — в дневнике.

«Часов в 10 мы пили чай. Кончив его, я, так как в этот день устала, легла на постель и попросила Федора Михайловича сесть ко мне ближе». Федор Михайлович сел, но вскорости вскочил вдруг, хотел идти куда-то, споткнулся о башмаки и опустился, взволнованный, на прежнее место. «Ты не знаешь, что сейчас со мной было! — сказал он со странным выражением... — Я сейчас хотел поцеловать твою ногу».

Вот он откуда, мучительный следок. «Именно мучительный!»

В этом путешествии рабой была не Аполлинурия, рабом был он — она помыкала им, как хотела. «Я действительно готов за нее голову мою положить», — обреченно признается Алексей Иванович — обреченно и обескураженно. (На протест он, видимо, уже не способен.) «Если бы даже она и не любила меня нисколько, все-таки нельзя бы, кажется, так топтать мои чувства и с таким пренебрежением принимать мои признания... Ей было приятно, выслушав и раздражив меня до боли, вдруг меня огорошить какою-нибудь выходкою величайшего презрения и невнимания».

Сказано это о Полине, которая, делится Алексей Иванович, временами смотрела на него «с выражением бесконечной ненависти», но в равной степени это сказано, конечно/и о реальной Аполлинурии.

Быть может, Достоевский стал жертвой собственной мнительности? Быть может, все это — игра распаленной и болезненной фантазии? Увы... «Мне говорят о Федоре Михайловиче. Я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания».

Что имеет в виду Суслова? Не их заграничное путешествие, нет — там-то как раз заставляла страдать она, — Суслова говорит о том, что раньше было, в Петербурге, когда он встречался с нею тайком от жены.

Ослепленная первой любовью, которая была, по ее опять-таки словам, «красива, даже грандиозна», она ни на что не обращала внимания, но замечала все. «Ты вел себя как человек серьезный, занятой, который... не забывает и наслаждаться... на том основании, что какой-то великий доктор или философ утверждал, что нужно пьяным напиться раз в месяц».

Достоевский не напивался, у него была иная форма разрядки, Аполлинурия поняла это и, гордячка, «расколница поморского согласия», «хлыстовская богородица», отыгралась, когда пришел ее черед, в полной мере. «Бывали минуты, — исповедуется Алексей Иванович и уточняет: — (а именно каждый раз при конце наших разговоров), что я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее!»

Сам Достоевский более сдержан в своих откровениях. «Аполлинурия, — жалуется он сестре, — больная эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальные. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение

других хороших черт... Она колет меня до сих пор тем, что я не достоин был любви ее, жалуется и упрекает меня беспрерывно... Она меня третировала всегда свысока».

Его колот, его упрекают, его третировают, но автор «Униженных и оскорбленных» — с его болезненным-то самолюбием! — не покидает свою мучительницу. Почему? Уж не находит ли он во всем этом «своего рода наслаждение, разумеется, наслаждение отчаяния, но в отчаянии-то, — выворачивает себя наизнанку герой «Записок из подполья», — и бывают самые жгучие наслаждения, особенно когда уж очень сильно осознаешь безвыходность своего положения».

Достоевский писал «Записки из подполья» сразу после путешествия с Аполлинурией — путешествия, где он имел возможность в полной мере испытать «наслаждение... от слишком яркого сознания своего унижения».

«Хлыстовская богородица» понять подобные радости не могла — не понять, не принять (как, впрочем, и «Записки...», прочитав начало которых незамедлительно отчитала автора: «Мне не нравится, когда ты пишешь циничские вещи»), но он же, изощренный сладостолоб, так ценил, по-видимому, этот род удовольствия, что, встретившись с Аполлинурией после двухлетней разлуки, с ходу сделал ей предложение.

Впрочем, на предложение Достоевский был щедр необычайно: только с апреля 1865-го по ноябрь 1866-го умудрился сделать их — за каких-то полтора года! — целых пять. Дважды — с интервалом в несколько недель — Сусловой («Он уже давно, — записывает она в дневнике, — предлагает мне руку и сердце и только сердит этим»), один раз 22-летней Анне Корвин-Круковской, прототипу Аглаи в «Идиоте», один раз 43-летней Елене Павловне Ивановой, будущей вдове (муж, правда, еще дышал и прожил потом три года), и, наконец, стенографистке Анне Сниткиной.

Последняя руку знаменитого писателя благосклонно приняла. Суслова ничего не знала об этом и в один прекрасный день послала отвергнутому ее соискателю весточку, которая была столь дорога ему, что он тайком от молодой жены захватил ее с собой в свадебное путешествие.

Что было в том письме, нам неизвестно, зато хорошо известна реакция Анны Григорьевны, которая наткнулась на злополучный листок в столе мужа. «Прочитав письмо, я так была взволнована, что просто не знала, что делать. Мне было холодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, что старая привязанность возобновится и что любовь его ко мне исчезнет».

Достоевский Аполлинурии ответил. «Я женился, — сообщил он ей смиренно. И далее то ли оправдываясь, то ли объясняя: — Я думал еще найти сердце, которое бы отозвалось мне, но не нашел».

Это, конечно, был упрек: не отозвалась-то прежде всего она, не захотела связать с ним свою судьбу, однако Аполлинурия была не из тех, кто безропотно сносит упреки. Тотчас сочинила ответ, который бдительная Анна Григорьевна перехватила. «Я торопливо пришла домой, страшно в душе волнуясь, достала ножик и осторожно распечатала письмо. Это было очень глупое и грубое письмо... Я уверена, что она была сильно раздосадована женитьбой Феди...»

Затем молодая жена аккуратно заклеила конверт и как ни в чем не бывало передала за чаем супругу, сама же «следила за выражением его лица... Он долго, долго перечитывал первую страничку, как бы не будучи в состоянии понять, что там было написано; потом наконец прочел и весь покраснел. Мне показалось, что у него дрожали руки... Потом он сделался ужасно как рассеян, едва понимал, о чем я говорю».

Спустя полмесяца пришло еще одно «письмо от С.» — во всяком случае, Анне Григорьевне так показалось. Естественно, что она утроила бдительность — тут-то и произошел инцидент с запиской, которую он вынул из кармана, прочел и хотел было спрятать, но она успела схватить, и от записки лишь клочки полетели. Жена Достоевского, вернувшись, подобрала их, сложила дома и прочла адрес, по которому ходила потом несколько раз, выслеживая «подлую особу», — расшифрованный век спустя дневник повествует об этой конспиративной операции весьма обстоятельно.

Операция успехом не увенчалась: означенная особа по указанному адресу не проживала. Да и вообще следов ее в Женеве не обнаружилось. Тем не менее Анна Григорьевна могла бы напасть на них, причем для этого ей не надо было бы даже выходить из дома. Просто взяла бы текст «Игрока», с первого до последнего слова написанного ее собственной рукой, внимательно перечла бы и обнаружила бы, что одна фраза появилась там уже после того, как она поставила завершающую точку.

Достоевский вписал ее в текст в последнюю минуту, перед тем как отдать рукопись в печать. Вот эта фраза:

«Пусть знает Полина, что я еще могу быть человеком!»